

אפרים באוך  
Эфраим Баух

**«Что в имени тебе моем...»**



***опыт биографии в изменяемом  
времени***

Издательство «Книга-Сефер

Израиль, 2016

Эфраим Баух

**«Что в имени тебе моем...»**

«Книга-Сэфер»

2016

**Баух Э.**

«Что в имени тебе моем...» / Э. Баух — «Книга-Сэфер», 2016

ISBN 978-965-7288-24-7

В новой книге эссе, Эфраим Баух с присущими ему мудростью, эрудицией, мастерством продолжает размышлять и вспоминать. Израиль и Молдова, Рим и Рига, Ахмадулина и Межиров, Пастернак и Мандельштам, Тора и Ницше... Истинное наслаждение получит читатель, следя за свободным течением мысли и фразы крупнейшего израильского русского писателя Эфраима Бауха.

ISBN 978-965-7288-24-7

© Баух Э., 2016  
© Книга-Сэфер, 2016

# Содержание

Что в имени тебе моем...	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

**Эфраим Баух**  
**«Что в имени тебе моем...»**

© Эфраим Баух, 2016

## Что в имени тебе моем...

Случилось это зимой, в первый послевоенный нищий 1946 год.

Тощий, вечно голодный одиннадцатилетний подросток, я покупал на копейки, которые мне иногда давала мама, пирожок с требухой. Пирожки эти продавала рядом со школой толстая тетка в ватнике и обрезанных перчатках, из которых торчали ее красные от мороза пальцы. Она вырывала листок из какой-то книжки и заворачивала в него пирожок. Листок был с картинкой, и, развернув его, я понял, что книжка о мифах древней Греции.

Так произошло мое первое и последнее в жизни воровство. С ловкостью, явно выдающей скрытые во мне воровские способности, я умыкнул эту книжку и вовсе не бросился бежать, а спокойно положил ее в сшитую мамой торбу, в которой следовало подразумевать школьный портфель. В торбе этой, кстати, лежали обрывки каких-то книг, которые нам выдавали вместо тетрадей по правописанию, и я, левша, мучительно старался писать правой диктанта между печатных строк, играющих роль линий.

С тех пор у меня на всю жизнь – особое отношение к книгам без начала и конца, без имени автора и заглавия.

Наш прошедший через всю войну изрядно покосившийся домик стоял на самом берегу Днестра. Потому первые мои образные ассоциации были связаны с наклоном земной коры, который широко накатывал эти воды вдаль, в сторону Черного моря, далее, через проливы Босфор и Дарданеллы (мы уже изучали географию), в Средиземное. А там точно так же, как наш дом, по правому берегу располагалась и Греция, называемая в книге Элладой.

Фрагмент реки, видимый мной из окна, был подобен книге без начала и конца. И хотя на карте можно было отметить ее исток и устье, от этого они не переставали быть смутной, смущающей душу тайной. И я ощущал себя вступающим в безначальную книгу, как в таящее подводные камни море или невинную на взгляд реку, которая в следующий миг обнаружит свой нрав и понесет своим течением. Конец же страшил, как некий порог, провал, к которому неотвратно несет и автора, и читателя, на доске ли, лодке, бревне, и они пытаются притормозить, цепляясь за камни и кусты, чтобы оттянуть падение, в надежде, что выбросит из потока, и они останутся в живых.

И еще, явно не по возрасту, я думал о том, как определить время, съедаемое чтением – как многократно усиленное существование или как потерю проходящей через тебя жизни?

То были годы, когда за чтение крамольной книги могли надолго упереть в острог, а то и к стенке приставить. Через много лет я встретил человека, который так спокойно рассказывал – за что отсидел часть жизни да еще, по его мнению, легко отделался. Он ехал тамбуре трамвая лицом к входящим, так, чтобы никто не увидел, что читает книгу Дана «Красный террор». Но кто-то из тамбура второго вагона через два стекла ухитрился книгу опознать. Вот какая была сверж бдительность, смеялся этот человек. Взяли его через считанные часы, совершенно обалдевшего, с поличным, т. е. книгой. А ведь завернул он ее в газету, чтоб не увидели имени автора и заглавия. Судьбу решила, вероятно, какая-то доля секунды, когда имя и заглавие мелькнули на титуле.

В уворованной мной книге не было ни автора, ни заглавия, даже обозначенных петитом в нижней части страницы. Так или иначе, к лету я все мифы, уцелевшие в оборванной книжке, знал почти наизусть, и мальчишки, которые называли меня «трепачом», собирались у нашего дома и, разинув рты, слушали мои рассказы про богов Олимпа, Афродиту, Нарцисса и, конечно же, Геракла.

Не знаю, решила ли мама, прислушиваясь к моим восторженным рассказам, направить меня на путь истинный, или и вправду подумала, что пришло время сыну читать «Кадиш»

в день поминаения отца. За гроши из своего скудного заработка секретарши-машинистки в банке она наняла старенького ребе учить меня ивриту и молитвам.

И, конечно же, потрясшую меня прелесть греческих мифов даже из оборванной книжки не могла заглушить прелесть ветхих страниц Торы, которую, завернув в алую тряпицу, ребе приносил с собой, и запах воска бабушкиных субботних свечей.

Два начала – эллинское и иудейское – боролись в моей душе одиннадцатилетнего подростка точно также, как, противоборствуя и сливаясь, творили европейскую цивилизацию.

Это потом, в университетские годы, меня потрясло сказанное выдающимся английским политиком Гладстоном. Сравнивая «все чудеса греческой цивилизации» с единственной книгой из еврейского священного Писания – книгой Псалмов Давида, он пришел к выводу, что все цветы рая цвели «только в Палестине».

Пока же я заучивал вслед за ребе некоторые псалмы по молитвеннику «Махзору», которые всегда читают в синагоге, а в свободное время бредил мифами Эллады.

Но, странное дело, в мои сны, которые по молодости особенно отчетливы и летучи, просачивался лишь по-козлиному дрожащий голосок старенького ребе началом молитвы «Кадиш» – «Итгададл вэ иткадаш шмэ раба» – «Да возвеличится и воссвятится великое имя Его». И река жизни – без начала и конца – на широком своем фарватере, сжимая комок моего сердца, обозначалась плотиной, частоколом древнееврейских букв – первыми, начальными, и потому особенно магическими словами «Бэрейшит бара элоим эт ашамаим вэ эт аарец» – «В начале сотворил Бог небо и землю».

Во сне слова эти заставляли захолодеть сердце некоей птичьей свободой, птичьей перспективой дальней, как миф, земли, заставляя собой все то, что окружало меня в нищем и голодном мире послевоенных лет.

Это птичье витание было чем-то сродни витанию Божьего духа «над поверхностью вод». Небо раскалывала молния, озвученная громом: «Да будет свет».

И я просыпался чуть свет. Лежал и размышлял о том, что греческие трагедии играли на котурнах, чтобы оторваться земного скудного быта, но стоило пелене иллюзий упасть с души зрителя, как эти котурны превращались в обыкновенные костыли, вызывающие гомерический хохот.

В этот миг трагедия оборачивалась комедией, которая все обращала в прах, вела в Никуда.

Весело умирать – слабое утешение, приводящее целые народы к самоубийству.

В эти мерзкие дни мама, потемнев лицом и опустив руки, говорила: «Лучше бы мне умереть». Бабка, в которой был невероятно силен корень жизни, устраивала ей громкий скандал. «Не кричи, – говорила мама, – ребенок услышит».

А ребенок знал и не такое. Иногда во время плавания на реке у ребенка шевелились волосы в ужасе от мысли: так просто – перестать двигать руками и ногами и пойти на дно. Ребенок словно бы приплясывал на грани собственного исчезновения, и где-то, совсем рядом, заманчиво маячил тот самый тоннель, о котором рассказывали все, пережившие клиническую смерть.

Но если греки, в конце концов, разделили судьбу, отпущенную ими Сократу, заставив его выпить яд, евреи сумели выжить среди яда, источаемого завистью, клеветой и злобой. В благодарность за исчезновение грекам приписывают и то, что они не совершили, а у евреев отбирают то, что им принадлежит по праву.

Так весьма рано меня все больше начал занимать еврейский вопрос. Причиной этому была моя славянская физиономия.

Меня все более потрясало, что, принимавшие меня за своего, там, где собирались больше трех, тут же начинали честить «жидов» и сожалеть, что «Гитлер их всех не прикончил». Я взрывался, кричал, что я тоже жид. Они снисходительно похлопывали меня по плечу: «Ты

жид?! Покажи паспорт». «Но меня зовут Эфраим!» «Кончай! Тебя зовут Фома. Быть может, неверный. Но – не еврей». Эту кличку «Фома» мне кто-то дал с младенчества.

Мне шел только четырнадцатый год, у меня еще не было паспорта.

День моего рождения, 13 января 1948, был ознаменован событием – убийством Михоэlsa.

Я усиленно пытался понять тех, кто ненавидел и преследовал евреев. Я уже тайком писал стихи, осторожно играя словами.

Я уже записывал в дневник.

Им на руку, чтобы мы сидели, сложа руки.

Им не с руки наша нерукотворность.

Опять была зима. Опять был голод, обостряющий память и надежду. Опять гибель терпеливо дышала за стенами нашей халупы, наращивая на стекла окон толстые тусклые оплывины льда. Казалось, ничего не происходит, но события накатывали друг на друга. Был обмен денег. Кто-то нес кредитки мешками. Кто-то покончил собой. Кого-то, уже совсем знакомого, посадили за анекдот. Пахло Сибирью. Страх высылки витал над замерзшими водами. Даже мама припрятала веревки на случай, если придется вязать барахло.

Я ходил в синагогу – читать по отцу «Кадиш».

Читал громко, медленно, поглядывая на край стекла под самой аркой продолговатого окна, покрытого льдом, где открывался неожиданно чистый лоскуток такого голубого, такого забытого неба, что больно щемило в груди и слезы выступали на глазах.

В эти тяжкие дни голода, страха, бесконечных разговоров по радио и в школе, что Бога нет, а есть Сталин, мою детскую неокрепшую душу тайно питал восторг, когда я вместе со стариками читал 104-й Псалом, знаменитый «куф-далет».

Выпевалась каждая строка – с цезурой посередине, текст словно бы подхватывал возносящим потоком над слякотью и мерзостью существования. Он впрямую обращен был к моей отдельно взятой душе: «...Благослови, душа моя, Господа...» Это удивительно звучное и тающее в гортани слово «нафши» – «душа моя» – рядом с именем Творца вселенной, казалось мне, держало всю мою еще только начинающуюся трепетную жизнь на невидимой, огромной, мощно защищающей отцовской ладони, которого я уже помнил с трудом.

Все вокруг казалось измызганным рядом с великолепием сжатых воедино и разделенных цезурой слов:

«...нотэ шамаим каирия: амэкарэ бамаим алиотав  
асам-авим рэхувоамэалэх ал-канфей-руах...» —

«...Простирает небеса ковром, Устраивает над водами горницы  
Свои,  
Делает облака колесницею Своей, Шествует на крыльях ветра...»

Я тогда еще не знал того, что было написано выдающимся немецким поэтом Гердером: «Стоит десять лет изучать еврейский язык, чтобы прочесть в подлиннике 104-й Псалом».

В перерыве между молитвами старики кашляли, скрипели скамейками, шептались о «папочке Иоселе», который поддержал раздел Палестины, часть евреям, часть арабам.

Для меня Палестина была подобна обратной стороне луны, таилась в слабом дуновении лермонтовской строки при перелистывании его книги, мелькнувшей «веткой Палестины», в песенке бабушки, очень уж приземленной для ее тонкого почти ангельского голоса: «Мы поедem в Палестину, там дадут нам десятину...» Палестина представлялась мне чем-то палево-

перламутровым, подобием Палеху, но не вязалась с плачем кантора, выпевающим слова «Бней Исраэль» и «Иерушалаим».

Завершался 1952 год. Я уже получил первый удар при поступлении в институт. Печать Каина, невидимая на моем лбу, была четко накрыта и оттиснута каиновой печатью советской власти под моим именем-отчеством, лишенным отечества – Ефраим Иццокович, и пятой графой паспорта.

Но имя это было неразрывно и впрямую связано со мной – авторством и заглавием книги моей будущей жизни.

С самого раннего детства я чувствовал на лбу обжигающий знак еврейства, прислушиваясь к тревожным разговорам отца с матерью. Над столом, за которым они сидели, на стене, висела репродукция с блёклой картины Бёклина «Бетман и мученица». В детском моем сознании никак не могли слиться Бетман и Гетман, как говорила моя бабушка, «убивец еврейских душ». Лицо Гетмана было полнокровным, с пышными усами, всегда во хмелю, и сабля его, как вечность, висела над головами евреев за миг до их смерти. Лицо же Бетмана, было каким-то изглоданным, тронутым тлением, как стоячая вода смерти.

Я уже был достаточно чутким, чтобы ощущать нечто темное и страшное, невидимо, но весьма слышимо заверчивающееся вокруг нас.

Стояли горестные дни 52-го года – Рош Ашана, Судный день.

Потом это время назовут черными годами советского еврейства.

По радио и в газетах непрерывно клеймили «космополитов», «беспаспортных бродяг», и хотя у меня уже был паспорт, я понимал, что это касается и меня, ибо все эти космополиты как на подбор были евреями. Имена их стояли непрекращающимся звоном в ушах: Альтман, Гурвич, Юзовский. Уже покрывались пылью забвения ранее разоблаченные достаточно громкие имена – Шкловский, Эйхенбаум.

Во всю развертывалась кампания по «раскрытию псевдонимов».

С тех пор феномен замены имен и фамилий, разные причины у каждого, одевающего маску на истинное свое лицо, по сей день занимают меня вместе с книгами без начала и конца, отсутствием авторства и заглавия.

Что чувствует человек, выступая не под своим именем? Изменяется ли его сущность? Где его душа обитает? Сжимается ли у него сердце, затрудняется ли дыхание, если кто-то называет его истинным его именем, которое ему самому кажется уже забытым?

Я мог понять русских евреев, которые, пытаясь из гетто прорваться в любое новшество, будь то русская культура или революция, в отличие, кстати, от евреев западной Европы, сохранивших еврейские фамилии, укрывали свое еврейство под русскими фамилиями.

Оказывается, многое неприятно и опасно «в имени тебе моем».

Как говорил известный остряк поэт Михаил Светлов: «Бьют не по имени, а по морде».

Вспомним Троцкого (Бронштейна), Каменева (Розенфельда), Зиновьева (Радомысльского). Все они предали своих отцов, все умерли не своей смертью, всех поглотила бездна.

Но при всех известных нам объяснениях в разных революционных катехизисах, непонятно, зачем Ульянову надо было скрывать себя под именем Ленин, Джугашвили – под именем Сталин, Скрябину – под именем Молотов. Слово бы человек влезал в чужую шкуру, чтобы без особых угрызений совести драть шкуры в массовом порядке с других.

Но что позволено Юпитеру, не позволено быку, точнее, козлу отпущения, то бишь, еврею, который судьбой своей назначен на заклание.

И газеты с особым садистским наслаждением писали, что, оказывается, вот же хитрюги эти негодяи – писатели-евреи: под прикрытием русских фамилий замышляют свои темные делишки. Бурлаченко-то – в самом деле Бердичевский, Даниил Данин – Плотке, Багрицкий был Дзюбин, Холодов – Меерович. Режиссер Таиров – на самом деле Коренблит. Радости в

массах не было предела. И никто не ощущал, в какой грязи барахтается. Огромная страна дышала миазмами позора, уверяя себя, что это истинная атмосфера светлого будущего.

С тех пор я бросался к газетным стендам, увидев списки героев или лауреатов, замечая, что это же делают русские. Но чувства, толкающие нас к этим стендам, были противоположными. Я выискивал еврейские фамилии, чтобы таким образом хотя бы на миг ощутить собственное достоинство. Они тоже выискивали те же еврейские фамилии, чтобы еще раз убедиться: кругом одни евреи. Помню, как я радовался, увидев среди лауреатов Сталинской премии математиков имя и фамилию – Шмая Долгинов: видно действительно великий математик, если имени своего не изменил и премию получил.

Вообще это выискивание имен и фамилий, замена имен, раскрытие псевдонимов – отдельная страница советской истории, требующая психоаналитического исследования. Эхо этой истории откликнулось и в Израиле.

Приближался день моего девятнадцатилетия.

13 января 1953 года грянул гром среди бела дня: «дело врачей».

Мама плакала. Арестовали доктора Касапа, к которому она ходила со своими болячками, и других врачей-евреев.

«Вот увидишь, мама, – сказал я, – если дело это несправедливое, оно лопнет, как пузырь». Мама судорожно приложила палец ко рту и в страхе огляделась, как будто кто-то мог нас подслушать в нашей халупе без телефона, без водопровода, с камышовой загородкой в углу двора, именуемой уборной.

Ожидание погрома носилось в воздухе. Близился Пурим памятью ненавистного Аммана, жаждущего погубить еврейский народ.

В ночь начала апреля раздался страшный грохот и треск. Нет, это не был первый весенний гром. Это треснули льды на Днестре. Всю ночь и следующие двое суток на реке стоял гул, треск, стрельба, льдина лезла на льдину, льдина топила льдину.

Также внезапно река очистилась, в природе наступили удивительный покой и умиротворение.

Умер Сталин.

Радио исходило бетховенскими рыданиями.

Люди шатались в неведении, как в массовом безумии.

Я же был траченный, я видел подкладку мира, ибо пользовался доверием старичков-букинистов, которые давали мне из-под прилавков на прочтение Зигмунда Фрейда, Артура Шопенгауэра, Никколо Макиавелли, еврея-ненавистника евреев Отто Вейнингера.

Я уже успел про себя запастись где-то вычитанным и поразившим меня выражением: «Кладбища полны людьми, без которых мир не мог обойтись».

Я слишком много знал. Меня надлежало упечь, растереть, расстрелять.

Как в анекдоте с ковбоем, который подошел к бармену: «Дважды два!» – «Четыре», – дрожа, ответил бармен. «Пятью пять!» – «Двадцать пять».

Ковбой застрелил бармена. Почему?! – удивился друг ковбоя. «Он слишком много знает».

События продолжали сводить массы с ума.

«Дело врачей» оказалось кровавым наветом.

Арестовали и расстреляли Берию. По всему НКВД прокатилась волна самоубийств. Армянское радио, когда-то на вопрос «Почему не хватает ондатровых шапок» ответившее – «Потому что давно не производился отстрел начальства», просило прощения за неправильный ответ.

Во всех актовых залах страны, набитых уже вовсе обалдевшей публикой, слышался треск ломаемых костей, текла кровь: читался доклад Хрущева на XX-м съезде о преступлениях Сталина.

В разных местах пытались рушить его памятники, но больше всего не поддавались сапоги вождя, так и остававшиеся одиноко на пьедестале и наводившие ужас на гулявших в ночи любовных парочек.

Уже укатали Сивкой с крутых горок антипартийную группу, от которой никак не мог отцепиться «примкнувший к ней Шепилов».

Сместили Хрущева.

Не успел «железный Шурик», дорогой товарищ Шелепин, пригрозить, что скрутит в бараний рог «гнилую интеллигенцию», которая уже по старой привычке приготовила чемоданчики со сменой белья, как сам исчез в круговороте, и на трон на долгие годы прочно уселся «бровеносец в потемках».

Во всей этой кутерьме лишь один вопрос оставался неизменным – еврейский: извечно русское «тащить и не пущать».

Кремлевские вершители мира в своем дремучем высокомерии, отсутствии чувства реальности, почти детском желании насолить Америке, нашли себе игрушку – «полукадета, полужэсера» Гамаль Насера, завалили его оружием, возвели в герои Советского Союза, даже на миг не задумываясь, что готовят очередную и, вероятно, последнюю Катастрофу еврейства. Что им какая-то там букашка, почти незаметный мазок на карте, на которой даже имя страны не умещается. На картах «верных друзей» арабов этого мазка и вовсе нет.

Можно было, не стесняясь, во всеуслышание называть эту букашку агрессором и пиратом, который своим, понимаете, поведением поставил под вопрос собственное существование.

Звонкая – на весь мир – оплеуха Шестидневной войны, многомиллиардные потери не привели их в чувство, но разбудили забытое столетиями достоинство евреев во всех местах, где бы они ни были.

Во всем ошеломленном мире, кроме, естественно, «братского социалистического лагеря», шли фильмы, показывающие разгромленные вместе с самолетами арабские аэродромы, почти плачущего, как обиженный ребенок, которого ввел в заблуждение «старший братец» Гамаль, короля Хусейна, обширные пространства Израиля, плотно заставленные трофеями – новенькими, с конвейера, советскими танками, гаубицами, машинами.

Но, главное, сага о русских сапогах – будь то хромовые вождя или кирзовые солдат – обрела силу сюрреального сюжета, поражающего человеческое воображение. Через весь Синай, за горизонт, помрачая ум, тянулась гуськом вереница сапог. Хотя песок Синай был раскален июньским солнцем, бежать было легче босиком.

И хотя всё казалось по-старому незыблемым, явно ощущалось, как пел Галич, «чтой-то непонятное в воздухе».

В душах младоевреев просыпалась забытая в веках иудейская пассионарность. Денно и ночью мечтали они – на карельском ли лесосплаве, на захваченном ли самолете – покинуть «лагерь с гражданином начальником Леонидильичом». Они уже не боялись «сумы и тюрьмы».

По всей стране прокатилась волна еврейских процессов, показав, что в мощнейшей империи, наводившей страх на весь мир, что-то давно проржавело и подгнило.

И грянул гром, треснул лед, сковывавший страну вот уже половину века: начался Исход русских евреев. «Опять эти жида, – бесились лица коренной национальности, – бегут как крысы с корабля, а нас оставляют тонуть с капитаном на мостике». Во всю гуляла шутка: все евреи Совдепии делятся на тех, кто едет, и тех, кто думает, что не уедет.

Никто по сей день еще не дал себе отчет, что миг, когда первый еврей – на поезде, пароходе ли, самолете – пересек границу всемогущего «соцлагеря», обозначил поворот в Истории XX-го века. Это было начало обратного отсчета существования империи, хотя засекреченные голоса, ведущие обратный отсчет на мировых экранах до взлета очередной советской космической ракеты, призваны были доказать, что империя на подъеме.

Раньше два еврея, встречаясь, долго смотрели друг на друга, говорили на идиш «Адус ыдыс» («Такие дела») и расходились. Теперь они заменили два слова одним: «Пора».

Пик алии 70-х выпал на дни, когда в Израиле бушевала война Судного дня.

Офицеры на мобилизационных пунктах были удивлены числом русских евреев, прямо с трапа самолета рвущихся на фронт. Офицеры были растроганы, успокаивали, провожали до выхода. Офицеры помнили войну за Независимость 48-го года. Тогда Бен-Гурион в какой-то отчаянный момент послал только сошедших с корабля спасшихся из нацистских лагерей европейских евреев, не умеющих держать оружие в руках, на передовую в район Латруна. Многие из них сложили головы, так и не успев сделать ни единого выстрела, не поняв, где они находятся.

Египтяне, победоносно форсировавшие Суэцкий канал, спустя считанное число дней внезапно обнаружили, что израильские войска стоят на подступах к Каиру. Садат сменил воинственный набат на призывы о спасении. Советский Союз расчехлил ракетные установки с ядерными боеголовками. Киссинджер ввел боевую готовность номер один.

Мир повис на волоске от Третьей мировой, на этот раз ядерной войны.

Опять оказалось, что на этом почти невидимом на карте лоскутке, и вправду похожем на пядь Бога, решалась будущая судьба человечества.

Я репатрировался в Израиль в 1977, в дни, когда страна была охвачена эйфорией: Садат в Иерусалиме.

Казалось, сбываются слова пророка Исаяи о том, что настало время сменить «мечи на орала».

Я же не участвовал в этом оре, в этом хоре, ибо ощущал себя, как человек, вырванный из темных, давящих в сотни атмосфер глубин на поверхность и заболевший кессонной болезнью.

В центре абсорбции я спал целыми днями, словно пытаюсь сном одолеть страшный перепад давления.

Но за снами стоял Франсиско Гойя: измотанный за последний год разум порождает чудовищ.

Властные безликости из отошедшей жизни плясали вокруг меня, гнали и не «пущали», прельщали предательством, дышали в затылок, угрожали застенком. Они слюнявили мои рукописи в своих издательствах, более похожих на следственные камеры, грозили припечатать, тянули с визой, как вытягивают последние жилы, рассматривали паспорт и так и этак, как будто до последней секунды подозревали во мне тайного контрабандиста.

Ужас был в том, что вся эта камарилья была безмолвной.

Иногда раздавался какой-то голос, но говорящий был невидим, и слов его нельзя было разобрать. Не был я еще удостоен достичь того уровня сна, о котором писал великий Рамбам, известный мне по русским источникам как Моше Маймонид: «Слова в снах от Бога, если звучат ясно и внятно, а произнесшего их увидеть нельзя».

Я вскакивал со сна от звуков шарманки из машины мороженщика, испытывая облегчение: я в Израиле, жена – в ульпане, дети – в школе.

Из зеркала глядело на меня существо глазами, опухшими от сна.

Стоит ли записывать сны? Для чего? Для избавления от них? Или, вырываясь из их ирреальности, как из наваждения, стараться записью доказать, что ты всё же существуешь в реальности?

Обалдевший от сна, пошатываясь, я выходил на улицу, пробуя осторожными шажками незнакомое пространство до первого угла. За углом был киоск. В нем стояла женщина, из-под рукава которой промелькивали нестираемые цифры в момент, когда она подавала газету или всякую мелкую всячину. После всего, что она пережила, только такое малозначительное занятие было для нее единственным успокоением, держало ее в жизни.

Нестираемые, вытатуированные нацистами, цифры, как тавро, которым метят скот, – цифровой или, как сейчас говорят, «дигитальный» код еврейства в XX-м веке.

Я возвращался в комнату, пытаюсь после длительного обморока души писать стихи. Мир, оставленный мной, был напрочь и наглухо отделен и отдален, как потусторонний.

Память не отпускала. Память была честнее моего искреннего и все же неосуществимого желания полностью оторваться от прошлого. Все сны были там.

И всё же – пусть слабая – эйфория несла свои плоды. Они были незрелыми до оскомины, но давали резкий новый вкус набегающих новым зрением и впечатлением дней.

Почти засыпая, я записывал на клочке бумаги:

Где-то моют подъезд. И подобен звук льющийся – неге  
В этот тяжкий хамсин по сю сторону длящихся дней.  
И я сплю, сплю весь день в этом шумном, как улей, ковчеге,  
С четырех сторон света собравшем безязыко мычащих людей.

И расплавленным оловом полдень мне льется на темя.  
Всей пустынею замер над временным нашим жильем.  
Но я сплю со всех сил, со всех ног,  
Засыпая пространство и время,  
Отягченные болью и былью,  
Поросшие диким быльем.

Я тяну, словно бредень, дырявые байки и бредни:  
В них – как дохлые рыбы – объедки веселий и тризн.  
Сплю и сплю со всех сил,  
Засыпая пространство и время —  
Так в отчаянье бездну засыпать пытается жизнь.

Сплю и сплю, как тону —  
Крик о помощи прячу я в склянку,  
Толщу вод, словно смерть, ощущая на утлых плечах.  
И мороженщик крутит немецких мелодий шарманку,  
Созывая так сладостно в путь всех,  
Еще не сожженных в печах.

Это только вовне перевернуто время воронкой  
И песчинками дней шлифовать начинает висок,  
Всё, что было, что есть и что будет —  
Мукой перемелется тонкой  
*И, как мелкая морось, уйдет в тот же самый песок.*

Мир громоздко един, он ни капельки зря не уронит.  
Почему же я в прошлое жажду прокрасться, как тать?  
Разве мир, что оставлен там – потусторонний?  
Вот же бабушка, мама, отец.  
Дышат рядом. Лишь лиц не видать.

Нет. Вглухую тот мир отсечен – вот разгадка —  
Хоть разломлены надвое жизни и времена.

Но должна же быть – щель ли, проход ли, просадка?  
Я по щели иду, где – тоскливой олифой стена.  
Вот отец мой. Больница. Снаружи мороз одичалый.  
Мама держит ладонь его, словно пытается судьбу.  
Ускользает душа его. Только рукою усталой  
Гладит волосы мне. Прикоснуться хочу к его лбу,  
Но, о ужас, к стеклу прикасаюсь губами —  
Бесконечному, толстому, плоско секущему мир,  
А за ним – в миг последней надежды —  
Как бледное блеклое пламя —  
Лица бабушки, мамы, отца  
Ускользают в прозрачный эфир —

Оставляют меня на грядущее новое время.  
Предо мной узкий мост или гнилью съедённая гать?  
И я сплю со всех сил.  
Засыпаю ль пространство и время?  
Или сил набираюсь, чтоб снова из мертвых восстать?!

В отличие от многих, не было у меня вначале острой эйфории, а потом – горького разочарования. С детства я знал, что мое место здесь. И вступив, как говорится, в собственную Историю, я готов был ее принимать со всеми ее подъемами и падениями.

Был ли я очарованным странником, верным «Земле обетованной», как Одиссей – Итаке? Подозревал ли я в себе «блудного сына», но старался об этом не думать в течение сорока лет?

Земля же эта была мне верна. Да и не во мне, как и в Одиссее было дело, а в земле этой, не предавшей себя.

Кто не пытался ее прельстить – дети Христа, дети Магомета, дети Сталина. Под пятой каких только империй не пребывала эта пядь земли – египетской, вавилонской, персидской, греческой, римской, арабской, турецкой, британской.

Но крепость духовного ядра иудейства оказалась настолько сильна, гибка, жизненна, что об него обломали зубы все кажущиеся неотразимыми идеи, идеологии, системы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.